

ВОСПОМИНАНИЯ

Листопад

В. К. Иков

VI. Взгляд в прошлое

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник
(Пушкин).

Боже! Какая скучища! Опять тюрьма и ссылка. Опять тюремно-ссылочные воспоминания — сказал бы взыскательный читатель, если бы он у меня нашелся. Опять все то же, приевшееся, неаппетитное и непитательное, как разогретый обед на ж. д. станциях. Опять в тысячный раз тот же быт, те же нравы, тот же ужас, ставший ручным и непугающим. И то же пресловутое: «дверь камеры с глухим стуком захлопнулась за мной, и я остался один». Успокойтесь! Ничего этого не будет или, во всяком случае, эти старенькие, заигранные, потрепанные кадры сведены здесь к минимуму. Вполне понимаю Ваше негодование и сам еще подавляю зевоту. Но, ей Богу, совсем без этих атрибутов обойтись я никак не могу, хоть убейте.

* * *

Покойный Д. А. Клеменц рассказывал как-то при мне: на одном этнографическом съезде при Академии наук провинциальный профессор, давно не бывший в столице, с любопытством озирается вокруг и, видя много незнакомых лиц, обращается все время к академику Н. С. Тихонравову за разъяснениями: «А это кто? А это кто?». Тихонравов каждый раз спокойно отвечает: «Это ссыльный», «это тоже ссыльный», «и это ссыльный». Бедный захолустный коллега не выдержал и завопил на весь зал: «Да что мы, на дворе пересыльной тюрьмы находимся, что ли?». Это звучит анекдотом, но Клеменц, тогда хранитель этнографического отдела при Русском музее, клялся и божился, будто это вовсе не шутка, на которые он был такой мастер. Да ведь и то правда: достаточно вспомнить, что археология, этнография, геология и пр. Сибири по меньшей мере на 50% созданы ссыльными, чтобы отпал всякий анекдотический привкус у эпизода на съезде.

Или вот такой сущий факт. В Иркутске родители моих помянутых выше приятельниц Сони Доллер и Веры Фриденсон жаловались неоднократно, что вот, мол, наши дети и слышать не хотят о политике, уши затыкают при наших разговорах. Вы, мол, поговорили бы с ними, усовестили бы их малость. Раз как-то Соня разоткровенничалась на эту тему и привела в объяснение своих настроений несокрушимые, по моему разумению, аргументы. «Подумайте, — говорила она, — я с детских лет только

Окончание. См. Вопросы истории, 1995, №№ 8—10.

и слышу на каждом шагу, в любом знакомом доме, от всякого к нам приходящего всегда одно и то же: «Такой-то отравился», «этого повесили», «трех высекли», «Х. сослан», «а у нас на Каре что было!», «а вот в Нерчинске однажды», и т. д., и т. п. без конца. С тех пор, как я себя помню, других бесед и рассказов я не знала. Я родилась на каторге, и мне кажется, что я никогда и не выходила оттуда. Мне хочется хоть немного других впечатлений, иного воздуха, новых лиц. Разве это незаконно с моей стороны? А мама не понимает».

Что я мог возразить ей тогда? Вероятно, смог бы сказать какой-нибудь ультраромантический вздор, какую-нибудь инфракрасную революционную банальность. Понять ее, как следует, я в ту пору еще не был способен. Но не посочувствовать этим милым карим очам, взволнованным и опечаленным, я тоже, конечно, не был в состоянии. Теперь, когда за спиной у меня свой солидный груз аналогичных переживаний и впечатлений, я не только глубоко сочувствую Соне Доллер, но и вполне ее понимаю. Но, к сожалению, бесплодно это знание, и, пародируя Минского, я могу сказать самому себе: «Слишком поздно ты, друг, научился» (его стихотворение «Поэту»: «Слишком поздно, поэт, ты родился»).

Да, понимаю, сочувствую, но ничем помочь не могу. Я говорю ей сейчас: «Сонечка, подите-ка сюда поскорее. Я могу показать Вам новые сборники Клоделя и Поля Валери. Хотите, перечтем сонеты Эредиа? А то поговорим о недавно вышедших письмах Гейне. Или пойдемте-ка на выставку современной графики либо, если Вы предпочитаете, старых мастеров (Тициан, Рубенс, Снайдерс, Питер де Хоох). Может быть, Вам хочется музыки? Вот Онеггер, Прокофьев, Шостакович. А может быть, Вас интересует великолепный Вельфлин или последняя работа Вилламовиц? О Сонечка, мне тоже страшно надоело бывшее, которое никак не может стать давно прошедшим. Меня коробит от минувших годов, которые ни за что не хотят минут совсем. Я с тоской и ужасом смотрю на красные, черные, белые и прочих цветов архивы».

Вотще. Сонечка молчит. Может, ее и в живых-то давно нет? Да и она, как я слышал, хлебнула-таки, к несказанной радости матери, тюремной баланды. А, главное, она мне не верит. Не верит, будто я сохранил прежний живой интерес ко всем впечатлениям бытия, что я не разучился грамоте и будто я сейчас, в 1933 г., как и 30 лет назад, с тем же энтузиазмом и подъемом способен восхищаться Клоделями и Вельфлинами. Да и Клодель-то, увы, не пишет что-то своих чудесных тончайших стихов. Он сменил курульное кресло великого мэтра французской литературы на пост дипломатического авгура при дворе Уолл-Стрита. Он пишет лишь донесения на Кэ д'Орсэ и сочиняет вместо углубленных мистерий, подобных «Благовещению», отточенно-изящные вербальные ноты Белому дому.

Мне и самому кажется, что я высох, сморщился, пожелтел, стал пресен, бесцветен и безвкусен, что я ни о чем не умею ни думать, ни говорить, кроме как о тюрьме и ссылке, что я утерять чутье ко всему, что когда-то жгло, радовало, пленяло меня, и что если я начинаю о чем-либо рассказывать, непременно съеду на это знаменитое: «дверь камеры с глухим стуком захлопнулась за мной, и я остался один». Порой мне вся русская жизнь в исторической ретроспективе и в наличной данности представляется огромным, нескладным тюремным двором, как этнографический съезд — собеседнику Клеменца. Пустырь, где с нетерпением ждут конца редкие чахлые деревца, подобно фофановским кладбищенским ивам, что «тощи и горбаты, семьею грустной расцвели». Я не знаю, есть ли оазисы на этом пустыре. Может быть и есть, но, право, и там вряд ли слаще.

Относительно говоря, мне везло: тюрьма и ссылка отняли у меня всего восемь лет. При 35 годах, прожитых мною к 1917 г., это не так уж много. Могло уйти вдвое больше. Вообще у многих бывало гораздо хуже с материальной, так сказать, стороны. И это, кажется, единственное, но, безусловно, неплохое и довольно действенное утешение. Но странное дело: я явно обтерпелся. И не испытываю ярко окрашенного нерасположения, острого недовольства при мысли об этих, столь плотно вошедших в мою судьбу

попутчиках. Было бы неблагородно, несправедливо и мелочно с моей стороны не найти сейчас, задним числом, да еще в привычной тюремной обстановке, перед лицом параша и баланды, нескольких унций благодарности и нескольких граммов теплой симпатии и для них. Ведь и терпентин на что-нибудь пригоден. Кошунственно заменяя одно слово в прекрасном стихотворении Н. П. Огарева, я мог бы, пожалуй, сказать: «Не все, не все, о Боже, нет, // Не все в душе тюрьма сгубила: // На дне ее есть тихий свет, // На дне ее еще есть сила».

Возможно, это скудная, дешевая, убогая подделка под настоящую жизнь (как бывают памятники под мрамор, stuc по-французски, т. е. штукатурка), эти анабиотические антракты между естественными жизнеотправлениями — все это отчасти и помешало погаснуть совсем тихому свету? Задержало наступление неизбежного мрака? Спасло силу от окончательной растраты? Странники в пустыне, что мы знаем?

* * *

Но, в сущности, в чем коренное различие между естественным и искусственным? Не кажется ли вам, что тюрьма к своей выгоде отличается от так наз. вольного мира большей упорядоченностью функций, меньшей грязью, предельной отчетливостью отношений, а следовательно, и ограниченностью, если не отсутствием, поводов к разочарованию? В этом крохотном микрокосме, в этом принудительно очерченном кругу, на этой примитивной сценической площадке разворачивается, в несколько условно стилизованном виде, целая, да позволено мне будет так выразиться, мистерия. В ней элементы трагического выделяются рельефнее в силу простоты декоративного и прочего оформления и резкости светотени, а моменты сатирические перерастают, как у Гоголя, в жуткий, кричащий гротеск. И нигде не чувствуешь себя до такой степени в когтях рока, случая, как здесь.

Ну, а на воле? Разве вообще-то лапы жизни менее сильны и беспощадны? И разве в пустыне жизни, так часто весьма похожей на общие камеры, мы меньше затеряны и обречены, чем в любом ДПЗ или в селе Монастырском? При таких условиях, о мой строгий читатель, как же Вы хотите, чтобы я совсем избежал набивших оскомину тюремных встреч и впечатлений, не отдал дани жанру, всецело сложившемуся и выпестованному на нашей дорогой 1/6 части земного шара с незапамятных времен?

Я не разделяю обычных оптимистических заверений многочисленных мемуаристов о тюрьме-ссылке как об университетах. Я считаю, что они никогда не подымались и до уровня хорошо поставленной средней школы. Имею в виду общее правило. Отдельные лица, преимущественно исключительно одаренные, волевые либо в силу сочетания неведомых факторов, становились широко образованными людьми или настоящими специалистами в той или иной отрасли. Пример: некоторые шлиссельбуржцы; покойный В. Л. Лихтенштадт, автор интересной книги о Гёте, бывший максималист, отбывавший каторгу в Шлиссельбурге (1907—1917 гг.), потом коммунист, погибший на фронте в дни наступления Юденича; или И. П. Вороницын, который отбывал каторгу там же в 1905—1917 гг. по делу черноморского Шмидтовского восстания, меньшевик, автор трехтомной «Истории атеизма», написанной в тюрьме. Указание на декабристов и народников ничего не доказывает: там люди стояли на плечах мощной культуры и от нее двигались вперед. Но ведь этих праведников легко, не сбившись со счета, пересчитать по пальцам. Их так мало, что ради них, пожалуй, не пощадил бы нечестивых городов разгневанный Иегова. В массе же университет этот выпускал поверхностных дилетантов, лжеэрудитов, привыкших хватать вершки, со свободно подвешенным языком и привычкой решать все вопросы с самоуверенной простотой, но без находчивости Александра Македонского.

Говорят еще, что величайший учитель и лучший университет — жизнь. Верно! Но это обычно медленный и чересчур уж своеобразный путь обучения. Не всем так везло, как Горькому, написавшему превосходную книгу

о своих «университетах». Зачастую происходит совсем иначе: потолкавшись по рытвинам и ухабам этого пути, многому научишься и ляжешь в гроб с твердым, но редко кого удовлетворяющим убеждением, что и учиться-то не стоило: с собой не унесешь, а применять знания поздновато, ни времени, ни возможности уже не осталось.

Так что, идя на уступки, скажем так: тюрьма-ссылка отчасти, с крупницей соли, играла при некоторых условиях (правильнее: могла играть) роль своего рода краткосрочных курсов ускоренной подготовки, где опыт и знания преподносят в сильно концентрированном растворе. Так готовят зауряд-врачей в годы военных потрясений или кадры технических специалистов при повышенном спросе на них и нищенской их наличности. Вот так и старая тюрьма-ссылка выпускала зауряд-деятелей, лиц, наспех, в ударном порядке подготовленных к житейской борьбе и творчеству. Это суррогат, конечно. Это дорогостоящий, не окупающий расходов, однобокий, всецело российский педагогический метод. Но мы всегда «учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Это даже на воле, на свободе. Почему же требовать большего от людей, не проходивших никакой другой ступени, кроме этих клубно-самообразовательных институтов, этих, так сказать, ланкастерских школ взаимного обучения, но тюремно-ссылочного образца?

Что же, по-Вашему? Да здравствуют тюрьма и ссылка? По обстоятельствам. Но, во всяком случае, чем я-то могу помочь? Такова жизнь.

* * *

«Да ты, брат, в лопухах родился!» — воскликнул в 1914 г. в Красноярской тюрьме один старый каторжанин, узнав, что меня определили в Минусинский уезд. Это, действительно, большая удача, так как первоначально мне определили Туруханск. И надо признать, что вообще у меня нет повода жаловаться на чрезмерную остроту падавших на меня за мою практику, до 1917 г., репрессий. За 16 лет очень (смею сказать) энергичной партийной работы, наполовину на нелегальном положении, я имел три ссылки: две в Сибирь, но в очень недурных условиях, и одну — в Вологодской губернии, но в лучшем ее уездном городе Великом Устюге. А между тем знаю товарищей, плативших каторгой за гораздо менее активную и инициативную деятельность. Я никаких претензий не предъявляю: ну, не получил ни каторги, ни лишения прав, ничего не попишешь, не плакать же об этом? Во всяком случае, я сделал все, чтобы заработать их: сделал, что мог, пусть кто может, сделает лучше, как говорится у древнего Квинта Горация Флакка.

Но эта легкость расчетов, наряду с частыми, но не долгими тюремными сидками, не могла воспитать во мне того мрачно трагического восприятия тюремно-ссылочного быта, коим обычно окрашены соответствующие мемуары. Непосредственного личного переживания разных ужасов (Орла и Олгачей, Тобольска и Пскова, и т. п.) у меня нет. Ну, а к пешим этапам, к столыпинским предохранительным связкам и прочему я всегда относился равнодушно, как и в голодовке, обструкции, побоям, которые пришлось претерпеть в бытность свою на линии огня. То ли бывало у других?

Вот поэтому-то у меня удержались в памяти прежде всего комические черточки прошлого уклада, его изнаночная, смешная сторона. Разумеется, я слишком хорошо знаю (не даром же столько лет, кроме всего прочего, изучаю еще и по литературе историю нашей борьбы и репрессий властей) всю теневую, драматическую, лицевую сторону государственных тюрем и ссылок. Но я пишу только о том, что составляет содержание моего опыта, а не историю моего времени. И я считаю, что подмеченные мною случайные, беглые черточки юмористического, так сказать, рисунка имеют свою ценность и могут пригодиться, как материал второстепенный и частный, для характеристики минувших лет. Эти мелкие черточки довольно наглядно говорят о пустоте и мертвости старого режима, об отсутствии у него своей покоряющей правды и притягательных сил. Но разрешу себе тут небольшое вводно-пояснительное отступление.

Доброе старое время, особенно до 1905—1906 гг., представляется мне замечательным, между прочим, и чисто русским смешением грубости и хамства, жестокости и разгильдяйства с непостижимой простотой нравов и известным, тоже российским, добродушием, коему, однако, пальца в рот не клади! Говорю это в применении ко всем ступеням социальной лестницы. Летом 1912 г. меня везли пароходом в ссылку в Устюг. До Тотьмы шла довольно крупная партия, здесь же ее сдали всю целиком, в том числе и моего товарища по камере московского пекаря Борисова. Я остался один с дюжиной конвойных. Едва пароход отчалил от пристани, как все мое воинство, кроме одного дежурного часового, первым делом поскидало с себя оружие и амуницию. И затем весь путь до Устюга я почти и не видел их, проводя время то на носу, то на корме, то на верхней палубе парохода, словно знатный иностранец, вояжирующий в чужой стране. Они и не интересовались мною нимало. Наоборот, заметив как-то мое сугубое внимание к одной случайной попутчице, старшой конфиденциально предложил мне: «Не угодно ли прогуляться с барышней на остановке?».

Я уже сказывал, что сибирский пеший этап показался мне раем после тюрем Екатеринбурга, Омска и т. д. Это я имею в виду низший начальственный персонал, с которым нетрудно было найти общий язык. Но можно отметить десятки случаев такого же «полуспустя рукава», получеловеческого отношения со стороны и высших чинов, иногда высокопоставленных. Это лишь после разгрома революции 1905 г., при Столыпине и его спутниках, резко обнажился оскал зверства, злобы, надругательства над личностью арестованного, вылезла наружу маска победителя, скрывавшая его животный страх перед пленным и связанным врагом.

Раньше, даже и на средних ступенях тюремной лестницы (я имею в виду прежде всего эту среду, ее мораль и нравы), в кругах начальников и помощников не было, как правило, отчетливой, оформленной, осознанной до конца классовой, групповой, лично карьерной ненависти к революционерам, политикам. Когда несколько улеглись волны испуга, нагнанного народолюбцами, и поостыла порожденная ими мстительная злоба больших и малых юпитеров и юпитерят, люди бюрократического фасона стали опять просто служить, отбывать наложенную на них случаев повинность, не очень-то задумываясь и скорбя над политическим и этическим смыслом своей профессии. Во всяком случае, их служебное, предосудительное в либеральных глазах, положение не было и для них самих знаменем, которым гордятся и стоять под которым вменяют себе в честь. Все это, и многое другое, пришло потом.

Вражды к нам как к опасному, ненавистному личному, сословному, классовому врагу тюремщики в массе своей проявляли так же мало, во всяком разе не больше, чем акцизные, податные, контрольные и иные чиновники. Пафоса борьбы и истребления неприятеля еще не родилось. А к тому же весь строй, сверху до низу, еще со времен Рюрика, так пропитался небрежностью, нерадением, попустительством, казенным формализмом, равнодушием, взяточничеством и прочим, что при некоторой ловкости и умелости, а особенно мзде, всегда можно было прорвать блокаду циркуляров, инструкций, предписаний и прочих канцелярских измышлений. Часто это и труда не составляло, ибо режим расплзался, как сношенная шинель гоголевского Акакия Акакиевича. Даже позже, после всех перелицовок и латаний этой перепрелой ткани, уживались в рамках единой системы нравы Рижской тюрьмы и Зерентуя с совершенно иными порядками и обычаями.

Иногда это покупалось весьма недешево, ценой человеческих жизней (правда, это самый недорогой товар на Земле). Когда меня зимой 1914 г. завезли в Мариинск и доставили глубокой ночью в тюрьму, я сразу почувствовал какие-то необычные для тюремной атмосферы флюиды благоговения воздуха. И хотя я был зело огорчен обнаруженной на пути с вокзала в тюрьму пропажей новехоньких ботинок (операция спутников!), в конторе я как-то сразу отошел и решил про себя, что сегодня уж бить не будут. Заметив в комнате книжный шкаф, я поинтересовался у чина, можно

ли рассчитывать на получение книг, и с удовольствием услышал любезное: «Пожалуйста! Выбирайте, что хотите сами, вот ключ». «Да, — думал я, — идя по двору в корпус, — пожалуй, и завтра обойдется все сносно». Прожил я здесь трое суток. «Какой обед нам подавали! Какой лапшой нас угощали!». Да я и дома-то не ел так вкусно, жирно и много. Утром проснулся я от громкой беседы в коридоре. Слышу странные речи: «Что же это ты, братец мой, как ведешь себя дурно? Неужели все еще не можешь своего положения понять?». Спрашиваю сокамерников: «Кто это там распекает и кого?». «Смотритель надзирателя». Ничего не понимаю! Смотритель — мента? Невероятно! В присутствии арестантов? Трижды невероятно! Слушаю дальше: «Надо входить в положение арестанта, не раздражать его, ему и без того несладко», и т. д. Бред какой-то наяву!

Потом взошли к нам. Мужчина на первой молодости, типа застарелой гарнизы, вежливо и отменно предупредительно поговорил со мной, а на мой вопрос о прогулке и ее продолжительности не без удивления ответил: «Да хоть весь день гуляйте!». И верно: я уходил со двора, когда надоедало одному. Спрашиваю уголовных: что за чудесия, мосьпане? Смеются. Оказывается, что месяца за два перед тем во время бунта на почве плохого питания (вернее: непитания) и жестокого обращения прежнего смотрителя, садиста и хапугу, бросили в котел с кипящей баландой. Вызывались солдаты, постреляли кое-кого. Но после этого «недоразумения» в тюрьме наступил золотой век: сменена была вся администрация, уцелевшая от разгрома, и почти вся стража. Надолго ли установилась эта идиллия, не знаю. Золотые века вообще быстротечны. Но после гнуснейшей обстановки Омска с его грязью, бранью, побоями, голодом, издевательством; после Санкт-Петербургской пересыльной и каторжной тюрьмы, где хорошо кормили, но еще лучше лупцевали арестантов и ругались круглые сутки, три дня в Марининске были на самом деле лучшими в мертво-домовой эпопее.

* * *

В 1910 г. водворили меня в Таганку. Через пять минут уголовный служитель принес записочку и карандаш с просьбой поскорее приготовить ответ. Староста коридора запрашивал от меня анкетных сведений и указания, вступаю ли я в полную коммуну или полукоммуну? Тогда царствовал тюремный инспектор Захаров, превративший Бутырскую каторгу в форменный застенок. Сильно «подвинтили» и Таганку, но все же здесь была благодать. Гуляли мы, следственные, группой в восемь чел. Помню Н. Н. Попова, ныне секретаря Украинской компартии, а тогда меньшевика из молодых; Н. А. Гаврилова, погибшего на Д. Востоке; Степ. Ионов. На другом этаже и крыле сидел Д. Ф. Сверчков, приехавший в 1910 г. агентом редакции «Голоса Социал-Демократа» и арестованный в редакции «Возрождения», но еще не раскрытый. Мне надо было поговорить с ним. И вот коридорные, без всякой мзды, по сговору с выводным Сафроничем, выпустили Д. Ф. на нашу прогулку, и мы вдоволь наговорились за этот час.

А за мзду? Старший помощник Яков Иванович за четвертную переводил осужденных на камерное заключение на крепостной режим (*custodia honesta*), с рядом льгот и преимуществ. Когда приезжало высшее начальство, мнимых крепостников обращали в первобытное состояние; рассеется буря, глядишь, они снова гордо крепостничают. В Сушевском полицейском доме смотритель, князек из бывших гвардейских офицеров, оставивший полк и скатившийся до полиции, возможно в силу неловкого обращения с полковыми суммами, совершенно серьезно предлагал нам в 1902 г. выпустить всех нас, 20 человек, за 20 тысяч рублей. Несомненно, поторговался и уступил бы, но мы отнеслись недостаточно солидно к проекту, чем, видимо, весьма его озадачили.

Деньги — великая сила во все эпохи и при всех порядках. В Петербурге в 1912 г. меня доставили после ареста на дому в участок для отправки в охранку. Утром пристав, тоже из князей (Вадбольский), говорит мне: «Вот Вы и подвели свою супругу. За проживание у нее на квартире заведомого

нелегального ей придется или уплатить 500 руб. штрафа, или отсидеть три месяца». «Как так?». «Есть такое постановление градоначальника». «Что же делать?». «Это постановление имеет силу лишь на территории градоначальства. Если Ваша супруга выедет хотя бы в Шувалово, платить ей не придется». «Но как мне дать ей знать?». «А это уж Вы сами устраивайтесь, но поскорее».

То была совершенно бесплатная, архилюбезная консультация, воистину картина, достойная кисти Айвазовского: частный пристав обучает нелегально взятого революционера, как объегорить высшее начальство. Я к городовому: «Братцы, выручайте, сбегайте с запиской домой ко мне!». Нашлась добрая душа, равнодушная к целковому, и, сменившись в 9 часов, слетала ко мне. Жена успела, конечно, после этого уклониться от кары господина градоначальника. То же и в Таганке. Надо было отправить письмо «по воле». Я уломал надзирателя (и фамилия-то такая славная: Остросаблин), и он за 50 коп. спутешествовал по адресу. А деньги я достал так... Ну, а вот этого не скажу!

Кажется, трудно найти было ментов, гнуснее омских. Да и весь персонал там сверху-донижу отличался исключительной гнусностью. Здорово мы с Б. И. Николаевским натерпелись там всякой всячины. А уж о наших сокамерниках, каторжанах, и говорить нечего: вспоминать через 20 лет и то тяжело. Но вот однажды мент свел меня с арестантом из так наз. дворянского отделения, которому требовалось написать куда-то кляузу. Я быстро исполнил заказ, за ним сразу посыпались другие, и у нас появилась махорка, булки и деньги. Уже в ходе этой операции мент, явно состоявший на кормлении у «дворян», совершенно изменил тон и манеры. А когда я предложил ему полтинник за отправку вольного письма, он расцвел пышным цветом и стал моим закадычным другом. Но пожить-то многим у меня ему не пришлось, так как вскоре прибыла новая партия политиков (с А. С. Енукидзе во главе), и нас с Б. И. отправили дальше.

В упомянутой уже Сущевке, но уже в 1910—1911 г., помощник смотрителя, знаменитый Петров, разрешал за 1-2-3 руб. свидания кому угодно и с кем угодно, пропускал в передаче запрещенные вещи, как, например, коньяк и т. п. Но это был явно гомерический тип, неоднократно попадавший на гауптвахту за пьянство и неглижирование правилами.

Помню и другие любопытные эпизоды. Меня арестовали летом 1910 г. в редакции «Возрождения» и через охранку доставили в Арбатский полицейский дом. Здесь я примерно за полторы недели перед тем был на свидании у нашего редактора, отбывавшего трехмесячный срок, П. С. Месхи. Смотритель, приняв меня за охранника, говорит мне: «А я ведь Вас знаю». Что за черт, думаю, неужели запомнил со свидания? «Как так?», — спрашиваю. «Да Вы жили в Зоологическом саду, на казенной квартире, а я был околоточным этого участка». Я легко убедил его, что он знал моего отца, и тут же на правах старого знакомства попросил его позвонить ко мне на дом, сообщить о моей судьбе и о доставке мне вещей. «Ну, вот этого никак уж не могу», — вздохнул он, открывая мне дверь в камеру, где дулись в карты Месхи, Яшка Богомазов и Л. Органов, встретившие меня радостным воєм. «Так не забудьте же номер мой», — кричу я на прощание смотрителю; он, улыбаясь, отрицательно качает головой.

Через полчаса смотрим: подъезжает к участку Конкордия Цедербаум с вещами. Позвонил-таки! Легко можно представить себе, что за порядки были у этого Льва Александровича. Мы жили, как у Христа за пазухой. Ежедневно с утра свежие газеты; на свиданиях — нелегальщина; на допросы водят мушкетеры пешком, заходят в пивнушки, в гости. В коридоре верхнем три или четыре камеры. Менты до того увлекались картами, что раскрывали все двери, чтобы не отвлекаться пустяками, или отдавали ключи сидельцу посолднее: «Некогда, мол, нам возиться с таким вздором, пускай там сами», и усаживались вплотную за игру. Особенно популярна была игра в козла. Как-то поздно вечером и заигрались мы так после проверки, а часть публики (вспоминаю еще А. С. Бубнова) разбрелась по своему усмотрению к соседям: кто поет, кто в шахматы играет, словом,

дым коромыслом. И вдруг появился Модль, помощник градоначальника, в самый разгар карнавала в арестном доме. Разумеется, были взыскания, но в основном все осталось по-прежнему.

Рассказывала мне в 1903 г. одна эсерка из Тамбова. Сидела она в Козлове, мелкоуездном городке, в качестве единственной политической («секретной» на старом жаргоне). Режим был приличный, но боялись ее, как огня, и на ночь смотритель отбирал у нее самолично письменные принадлежности и собственноручно запирали ее на ключ, унося с собой чуть ли не на дом. Как-то под Новый год ей не спалось, и она со скуки и тоски решила заняться литературным трудом. Говорит надзирателю: принесите мне от смотрителя бумагу и чернила, я хочу писать. Тот поглядел на нее очумелыми глазами и вызвал старшего. Он выслушал, тоже посмотрел на преступницу диким взором и пообещал «сию минуту доложить Его Благородию». Минут через 15 приходит смотритель в парадной форме, при орденах, и начинает что-то мямлить о вечеринке, неудобстве, извиняется. Та даже сердиться начала: «В чем дело? Что незаконного вы находите в моей просьбе?». Смотритель в отчаянии машет рукой и говорит: «Ну, ладно, пойдемте, коли так. Беру на свою ответственность». «Куда пойдемте?». «Да ведь Вы же просили позвать Вас на вечеринку поплясать? Пожалуйста, авось сойдет с рук». Поохотала моя приятельница вдоволь. А старик, узнав истину, совсем повеселел и стал уже с доброй душой приглашать ее на вечер, где будут «все свои, простые люди». И это в той самой Тамбовской губернии, где через два-три года свирепствовал Луженовский, звучали выстрелы Маруси Спиридоновой и где зверски надругались над ней садисты Аврамов и К^о.

Ибо, к несчастью, прав Дмитрий Федорович Карамазов: «Широк русский человек».

* * *

Можно бы умножить число таких или подобных примеров. Но если в высших чинах так прорывался вдруг, через все мундирные и ведомственные препоны, простой отзывчивый человек, то в низах не в редкость было найти прямое сочувствие нам, однако в известных пределах. Границей здесь служили боязнь ответственности, страх потери места, наконец более или менее прочно усвоенная пресловутая дисциплина, превращавшая человека в механического исполнителя велений ближайшего начальства.

Напротив Арбатского полицейского дома — пожарная часть, а на углу — пост городского. Окна выходят на двор, но из крайней камеры нам виден противоположный тротуар. И сюда приходят на летучее свидание родные. Упитанные пожарные лодыри торчат на улице, посиживая на лавочках и полужигвая семечки. Они самые лютые враги политиков, и в их присутствии сношения с волей затруднены. Городовые же совершенно равнодушны к нарушению устава и сквозь пальцы смотрят на наши мимические и словесные переговоры. А один молодой паренек вел себя просто трогательно. Началось с того, что он стал, выходя на дежурство, здороваться с нами, становясь во фронт и отдавая честь. Потом он как-то улучил минутку, подошел ближе и попросил нас не здороваться с ним, ежели есть на дворе или улице посторонние. Так вот, когда приходила моя жена, он или уходил в противоположный конец переулочка, или упорно смотрел в другую сторону. В день моих именин, 15 июля, она подошла к окну с цветами, но ведь через забор-то не дотянешься. И вот он сам взял у нее букет и переслал мне через подследственных нижнего этажа. Чтобы оценить в должной мере это подлинно товарищеское отношение, надо вспомнить, что он рисковал службой и свободой, в сущности из-за пустяка. При увозе меня в Таганку он с такой подчеркнутой демонстративностью сочувствия вытянулся во фронт и откозырял мне, что я даже обеспокоился за него: охранник-то мог донести. Днем пришла жена, и этот неизвестный мне даже по имени милый друг сообщил ей, что я увезен в одиночную камеру. И было это в глухое время лета 1910 г., когда столыпинщина еще не дала трещин и еще не начинался подъем общественного настроения.

Зимой 1910—1911 гг. в Сушевке скопилось изрядное количество заключенных. Вспоминаю среди этой компании в 35—40 человек покойных Н. Н. Яковлева, Манделыштама (Одиссея), Жилина, Щербакова, печатника Романова (Пелагею), расстрелянного как злостного провокатора в 1918 г.; совсем тогда юного студента Н. И. Бухарина; студентов: юриста Минского, петровцев Смирнова и Морозова, медика Замуховского; печатников Солдатова (умер в Харькове в 1912 г.) и Яшу Богомазова. На нашем коридоре дежурство несли городовые, 12 человек. У соседей в одиночном корпусе — особые служители, так наз. мушкетеры, в Сушевке как раз тогда довольно подловатые. Не то было с городовыми. Из всей команды только один старик с 25-летним стажем службы, вроде бы герой кордегардии, никак не шел ни на какие послабления, тем более услуги, и отказывался брать у нас что-либо. Мы один раз поучили его, как следует, и с ним произошел моральный переворот: стал любезен, услужлив. А остальные безотказно носили газеты, отправляли письма, ходили с поручениями (даже в Разумовское ездили), таскали водку и т. д. Кстати, очень по вкусу пришлось им наше неизменно вежливое обращение с ними и величание их по имени-отчеству. Это было заведено студентами, отбывавшими здесь сроки за участие в толстовских манифестациях, а по наследству перешло к нам. Момент даяния играл здесь очень подчиненную роль.

Однажды на свидание ко мне приходила тетка, жена весьма крупного жел. дор. инженера, начальника движения одной из главнейших наших магистралей. Помощник смотрителя Гронский, быв. служащий этой дороги, уволенный за забастовку 1905 г., узнал ее и разболтал в своем кругу об этом ее визите. И вот с утра на другой же день началось ко мне паломничество городовых: дайте записочку к дядюшке, чтобы устроил у себя на жел. дороге. К великому нашему обоюдному огорчению я был бесполезен: дядюшка с трудом пускал меня к себе на порог, а их прямо отправил бы в участок.

Но какова же привлекательность строя, если его вооруженная сила и опора спала и видела, как бы ей сбросить с себя это почетное бремя защиты государства от внутренних врагов? Однако опыт показал мне, что увлекаться их сочувствием было бы легкомысленно. 9 января мы вышли на прогулку с заранее обдуманном намерением отметить великий траурный день какой-нибудь манифестацией. Чем же кроме пения могли мы проявить себя, загнанные для прогулки в небольшой внутренний двор? Составился очень недурной хор. Дежурство нес в этот день Гронский, яро ненавидевший всех нас. Только что мы закончили похоронный марш, как он ворвался во двор с криком «Прекратить пение!». Ну, разумеется, мы нуль внимания: запели «Варшавянку». Дальше — больше: Гронский кричит, начинает грозить нам, его поддерживают мушкетеры, атмосфера сгущается. Я оглядел цепь наших коридорных городовых: они стояли молча, как истуканы, опустив глаза, бледные и явно не в себе. А тут уж начинается смятение, слышатся прямые призывы к битью нас и, главное, в воротах накапливаются пожарные: их же хлебом не корми, дай студентов поучить. За забором, как рассказывали потом, народ собрался: шутка ли! Хор в 30—35 голосов орет во всю мочь днем революционные песни. В этот момент прибежал смотритель, старик не злой и тактичный, и сумел как-то поладить с нами и увести со двора. Я спрашиваю потом одного из самых преданных нам городовых: «Скажите, Михаил Михайлович, откровенно: стали бы Вы и все Ваши бить нас, если бы Гронский начал драку?». «Стали бы, В. К.», — с грустью, вполне искренно и правдиво признался он. Вот и предел! То, что веками всасывалось с молоком матери, все эти рабско-государственные инстинкты не так-то легко и просто поддаются выветриванию.

Но все же в итоге многолетних наблюдений я убедился, что при такой неустойчивости и неуверенности государственного аппарата проводить ему последовательно и неуклонно, без сбоев, террористическую политику невозможно.

Это к счастью, конечно! «Умом Россию не понять». В русских условиях и при национальных нравах в тюрьмах нельзя было бы вздохнуть, не то что

жить, не будь всех этих отдушин и маленьких недостатков большого механизма... Но я совсем забыл, что меня ждет Красноярск, куда я вернулся из Иркутска! Ничего: там вскоре тоже пойдут дни тюремного досуга. Попал я в ту категорию зачинщиков, которой скинули треть срока, то есть оставался мне примерно год с небольшим надзору. Стоял выбор: или ехать в Нижний, который я указал в Иркутске и куда отослали все мои бумаги, или отбыть остаток срока в Красноярске. Раз уж судьбе было угодно, чтобы я склонился по природному легкомыслию к Красноярску, оставалось одно: сразу войти в партийную работу, что я немедленно и сделал. Но так как наши с департаментом интересы расходились, то меня стали усиленно выживать из города. Пришлось лавировать, сочинять всякие поводы для оттяжки, представлять справки о болезни и т. п. Важно было утвердиться в праве проживания в Красноярске. В конце концов терпение и труд... И я своего добился.

Я не сумел в течение своего невольного досуга ознакомиться, как следует, ни с жизнью этого большого богатого края, ни с разнообразной, интересной, местами прямо величественной природой района. Мне неловко. И если не в оправдание, то в объяснение приведу некоторые, отчасти извиняющие меня, соображения. Коренной москвич, мало знакомый с деревней и принципиальный урбанист, я плохо ориентируюсь в новой обстановке и туго воспринимаю особую окраску и прелесть незнакомых мест. А кроме того, я слишком свыкся со своей среднерусской полосой, только ее и чувствую, ценю и осязаю по-настоящему. Я неоднократно бывал в разных уголках Московской, Тульской, Орловской, Владимирской, Калужской губерний. И эти родные, серенькие, блеклые, простенькие акварельные местечки мне дороже, ближе всех других красот земли. Только море могло стать их соперником. Любовь к этой русской природе, к ее прозрачным пейзажам, к ее тихой нежности и робким краскам и полутонам стала частью моего «я», неотъемлемым слагаемым моего внутреннего мира. В них, в этих тяге и симпатии, есть, может быть, кое-что головное, от литературы и искусства. И неслучайно скромные и неясные виды какого-нибудь Подтарусья или Нового Иерусалима всегда ассоциируются у меня с Левитаном и Борисовым-Мусатовым, Нестеровым и Чеховым, Тургеневым и Чайковским. Эта привязанность, каковы бы ни были ее корни, прочна, звучит во мне всегда и всюду, куда ни заносили бы меня игра случая и веление рока. И когда я, после всех шатаний и странствий по свету, попал в 1928 г. летом на заре на милую, спокойную, подернутую предрассветным туманом Оку, я готов был плакать и смеяться от радости, умиления и щемящей грусти, как на заброшенной, забытой могиле Борисова-Мусатова в Тарусе.

А Сибирь? Чуждадельная сторонюшка, и настоящей близости к ней так никогда у меня и не установилось. Ранее номинально партийную жизнь в Сибири направлял идейный и организационный центр, так наз. Сибирский с.-д. союз. Говорю — номинально, потому что, поскольку позволяет мне судить мой опыт, руководство это было донельзя слабое, чтобы не сказать фиктивное. По крайней мере, Красноярск держал себя с непринужденной автономностью. Не берусь, разумеется, судить о партийных делах в целом. Дистанция эта огромного размера. Такие отдаленные районы, как Омск, Томск, Чита и пр., были недоступны моему взору. В поле моих личных наблюдений состоял преимущественно Красноярск, отчасти Иркутск.

Говорить о сибирском пролетариате, рабочем движении Сибири 30 лет назад следует с большой осторожностью. В сплошной крепко-крестьянский массив колоссальной с/х территории кое-где были вкраплены небольшие промышленные гнезда вроде каменноугольных копей под Томском и Иркутском, жел. дор. мастерские и депо, мелкие заводишки, фабрички и т. д. Как прочно и широко пустила корни с.-д.-кратия даже в наиболее крупных из этих рабочих центриков, сказать не берусь. Но, если судить по Красноярску, база партии не отличалась ни массовостью, ни размерами. Опорой организации служили единицы, в лучшем случае кружки из железнодорожников, ремесленников, служащих и наконец (а вернее, в первую очередь) из учащихся. Именно в этой среде и вращался я все время в Красноярске.

Я много тратил времени и сил на свою работу. И никогда не оставляло меня лично глухое, отгоняемое от себя, ощущение известной эфемерности и шаткости наших приобретений и завоеваний. Даже, если хотите, больше: бывали мысли и об органической бесплодности и неоправданности нашего беличьего бега в колесе с точки зрения организационно-партийных с.-д. задач. Конечно, я никогда не признался бы в этом вслух и выцарапал бы глаза тому, кто посмел бы утверждать такую ересь. Но сейчас, спустя 30 лет, можно.

В Красноярске никогда не было такого скопления ссыльного народа, как в Иркутске, где гораздо легче устраивались с заработком. Материальное наше положение вообще не могло быть предметом зависти. Перебывались кое-как, жили коммунами, где складочный капитал составлялся прежде всего из восьмирублевого казенного пособия. И этот-то нищенский паек был установлен для всех только Святополк-Мирским. До него такое «богатство» являлось достоянием лишь лиц, пришедших в Енисейскую губернию по жандармским дознаниям (следственно, по «высочайшему» утверждению приговора). Осужденные в порядке так наз. охранной переписки (то есть приговор коим выносился «Особым совещанием» при Министерстве внутренних дел) довольствовались помощью от казны не свыше трех-четырех рублей. Князь Святополк-Мирский признал равенство всех перед лицом физиологического минимума, в деревнях восьми руб. хватало на сносную жизнь, в городах требовался приварок. Мы и выкручивались, как умели и как могли.

В Иркутске выручали в начале века жел. дор. управление, газета И. И. Попова «Восточное обозрение», уроки, торговые фирмы и пр. В Красноярске все эти возможности были ограничены. Легче всего устраивался медицинский персонал — врачи, фельдшерицы, зубные врачи, фармацевты, ибо нужда в нем была острейшая. Некоторые перебывались уроками, другие — разными ремеслами. С грехом пополам существовали. Порой было трудно, зачастую голодно. Но все это — материальные невзгоды, всевозможные лишения, хроническая безработица, постоянный пассивный денежный баланс — переносилось по юности лет сравнительно легко. А главное, нас несла, поддерживала, подстегивала революционная волна. Наши помыслы и внимание прикованы были к задачам политической борьбы и партийной жизни. Это искреннее и целиком заполнявшее нас настроение создавало как бы заслон против всех ударов и шипов неприглядного личного быта.

Я не гонюсь на этих страницах за широкими картинами сибирской обывательской общественной жизни, за анализом, социологическими раскопками, характеристикой среды. Я слишком далек был от этого мира, хотя в Красноярске имелось у нас всех и, в частности, у меня много знакомств и связей в местных интеллигентских кругах. Но это были прежде всего именно связи в нашем старом подпольном словоупотреблении, то есть преимущественно деловые встречи на почве оказания ими нам бесчисленных и неоценимых услуг. Вот роковое, порочное наше место. Человек сам по себе не имел, согласно обстоятельствам нашего быта, угла зрения и уклона занятий, сколько-нибудь самостоятельной ценности, автономного значения, если он не представлял из себя легальной возможности, прикрытия для наших нелегальных дел. Преобладала, так сказать, точка зрения потребительской ценности, полезности человека в профиле революционных нужд.

Вот почему с широкой толщей местной интеллигенции близких отношений у нас не складывалось. С отдельными же представителями ее устанавливалась порой даже тесная дружба. Оговариваюсь: я имею в виду именно наше, молодое поколение с.-д. ссылки. В значительной мере это объясняется тем, что в описываемое мною время ссыльная публика стремилась поскорее, при первом удобном случае, бежать из Сибири на работу или за границу. Иное дело — старики, застрявшие здесь на десятилетия и, естественно, обросшие знакомствами, связями и пр. Возможно, что в силу разных причин им удавалось и легче находить общий язык с обществом,

чем нам. Я, естественно, лишен возможности помянуть здесь всех тех, с кем я встречался тогда в Сибири. Отношения с публикой у меня все время держались на дружеском уровне. Ни крупных ссор, ни нудных мелких дрызг память моя не сохранила. А в сердце моем оживает нежная теплота каждый раз, когда мысль воскрешает то исчезнувшее бесповоротно, как Атлантида, время.

Состав ссылки отличался значительной пестротой. Колония включала и людей высокой духовной и моральной культуры, и лиц массового образца, малограмотных во всех отношениях. Нас отделяла от всех, и в первую очередь от обывательского мира, наша товарищеская спайка, а затем именно то, что наши взоры были обращены в сторону общего: народа, государства, Интернационала, а не к личной судьбе и карьере. Не скажу, чтобы наша жизнь всегда была образцом полноты и производительности. Нет, это далеко не так. Как всегда и везде, и в ссылке, как и в эмиграции, учились, занимались, много читали только единицы. Были железные характеры, особенно среди русских рабочих, которые настойчиво и методично вытравляли свою неграмотность, начиная нередко буквально с азов, садясь в зрелом возрасте за грамматику и начальную арифметику. Большинство такой настоятельной потребности в расширении своего кругозора не испытывало.

В нашем тогдашнем окружении весьма заметное место занимала совсем особая категория людей, рожденная недоброй памяти антисемитской политикой властей. Мучительная черта оседлости с ее бесправием и исключительным, осадным положением для евреев создала своеобразный контингент лиц, я сказал бы — культурно-исторический тип так наз. экстернов. Дабы выбиться в сословие фармацевтов, зубных врачей и т. п. и получить право жительства вне гетто XX в., они сдавали экзамены за 4—6 классов гимназии, перебиваясь с хлеба на воду, терпя неслыханные лишения, снося голод, холод, зверскую нужду. Попадая одновременно в сферу притяжения Бунда, они часто не добирались до обещанной земли, оставаясь на всю жизнь с этим, в дорожную цену обошедшимся дипломом, порой и без него. Так складывалась целая армия полуинтеллигенции, резко отличной от дипломированной перворазрядной русской интеллигенции и вместе с тем оторвавшейся и от социально близкой ей среды ремесленничества и разночинства. Отсюда вербовали Бунд и все нелегальные партии своих adeptов на роли пропагандистов, агитаторов, районщиков, техников. Городской в основе своей слой, экстерны вносили в революционное движение и в ссылную жизнь присущую им живость и подвижность политического темперамента, являясь бродильным началом, порой организующим и мобилизующим центром.

Но вместе с тем они как-то останавливались, застывали в умственном росте. Диплом 4—6 классов гимназии освобождал от надобности зубрить учебники Смирновского и Киселева и вместе с тем нередко порождал aberrацию якобы достижения ими высот культуры. Да, спорить по любому вопросу и на любую тему они были мастера и охотно предавались бы тому 24 часа в сутки. Серьезных же занятий, если исключить чтение нелегалщины, я не видел почти ни у кого. В большом ходу были собеседования, дискуссии на темы дня, по вопросам, поставленным партийной печатью, например программа партии. Иногда — рефераты на общетеоретические темы. Так как нашим собраниям препятствий не чинилось, то на вечер сходилось до 40—50 человек. И проходили они, во всяком случае, шумно и оживленно, если не всегда плодотворно. Бесспорно только одно: в самую первую ссылку я там нигде не видал никаких других напитков, кроме чая. Совсем иная картина раскрылась в следующие годы, в дальнейшие мои ссылки, что в высокой степени показательно и для людей, и для эпохи.

* * *

В годы гражданской войны я с удивлением и некоторой обидой прочел в какой-то газете сообщение о расстреле на юге «деникинца», сотрудника ОСВАГ'а ростовчанина Ивана Петровича Брагина. Я вспомнил Женеву

1904 г., встречи и беседы с Брагиным. Прошло тогда всего 15 лет, но словно столетия пролегли между вчера и сегодня. «Много званных, мало избранных». Брагин, безусловно, причислял себя к последним. Но и другие, старшие, склонны были согласиться с ним. Очевидно, ни мы, сверстники Брагина, ни его пестуны и покровители не владели в 1904 г. избирательным чутьем для безошибочного отделения «званных» от «избранных».

Один из героев ростовских-на-дону событий 1902 г., Брагин к моему приезду за границу уже приелся эмигрантскому обществу и как-то повыводился. На некоторые натуры такое остывание интереса к ним действует очень плохо. «Суд глупца и смех толпы холодной» — это еще куда ни шло. Но вот молчания, равнодушия, незамечания их особы они перенести не в силах. Брагин заскучал и занервничал. Позади, в прошлом — митинги, опьяняющий шум стачки, успех. Он в роли с.-д.-ского Гракха или Спартака. Потом — заграница. Он пикантная новинка, с ним носятся, его заласкивают. Постепенно интерес к нему пропадает. И вместо бурного ростовского Темерника с грозными людскими волнами — тихая заводь бернско-женевских *places et guelles* (площадей и улочек), а тысячи восставших рабочих уступили место двум-трем сотням эмигрантов и студентов.

Стороннему глазу эмигрантская жизнь и деяния могли порой казаться повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Будни, партийный гоголевский «гусак» томили Брагина. Видимо, надо было иметь более тесную, внутреннюю связь с партией, чтобы, не смущаясь миргородской лужей, уловить в этих спорах, ссорах и дрызгах нечто значительное и исторически важное. Следовало бы почитать, поучиться, что не составило бы труда при хороших способностях этого, по общему признанию, талантливого молодого человека. Но он не умел эффективно наполнить двухлетние досуги. В вожди он не годился, рядовых перерос, быть слушателем и учеником мешали честолюбие и эгоцентризм.

Мы встретились вновь в Москве в 1906—1907 гг., в дни горького и горестного похмелья, сменившего энтузиазм, веру, пыл революции 1905 года. Разлагающемуся воздействию реакции легко поддавались натуры брагинского стиля, эти яркие индивидуалисты, шальным и слепым вихрем истории втянутые в чуждое им движение масс. Брагин тускнел, опускался, мельчал. Места ему не нашлось, места видного, почетного, в красном углу революции и партии! Кто он такой? Один из сотен с.-д. агитаторов! Помню, как тогда поразило меня его признание о близости ему мирозерцания Метерлинка, этого тончайшего мистика, визионера, панпсихиста. Поразило, может быть, потому, что я обнаружил какое-то внутреннее сродство наших душ в этом отношении.

Летом 1907 г. его арестовали на массовке в Сокольниках, куда и идти ему не хотелось, и куда он ушел-то из моей квартиры, по моему настоянию, ушел с ощущением обреченности и ненужности своего выступления. Тут и конец его политического, во всяком случае с.-д.-ского пути. Его выслали в Нижний. Наездом он бывал в Москве, носился с разными несуразно авантюрными прожеками, свидетельствовавшими о нем, как о вполне отрезанном ломте. А в 1917 г. процесс линяния и метаморфозы окончился. Он затащил как-то меня к себе обедать. О, где прежний Брагин, богема, обшарпанный, обтрепанный, немножко чужак и фантаст, с беспокойными, ищущими глазами? Нет его! За пышной трапезой сидел лошечный, упитанный, сыто самоуверенный мещанин. Он успокоился. Подвыпив, он стал проклинать интеллигенцию, партии, революцию, главное — виновников всех бед: «жидов»! Это был предел падения. Я ушел до конца пиршества, и больше мы не встречались.

*Зима 1932/33 г.,
Верхнеуральский политизолятор — 50-е годы.*